

И.С. Аксаков

Речь о А. С. Пушкине

Москва 7 июня 1880 г

Сорок три года тому назад такими, между прочим, стихами проводил Пушкина в могилу один из лучших и умнейших наших поэтов, Тютчев:

Тебя как первую любовь
России сердце не забудет...

Это не общее место. Это верно схваченная, историческая, выдающаяся черта отношений к Пушкину русского общества. В самом деле, наша связь с ним не какая-либо рассудочная, на отвлеченной оценке основанная, а сердечная, теплая, живая связь любви и до сих пор. Такой связи не было и нет у русского общества ни с одним поэтом. Одним ли художественным достоинством и значением Пушкина в искусстве вообще может быть объяснена такая живость и прочность сочувствия? Не таятся ли причины этого явления еще в чем-либо другом: в его историческом для нас значении, в самих психических свойствах его художественной природы, в той народной стихии, наконец, которой вся обвеяна и согрета его поэзия?

Пушкин не только наша неизменная любовь, но еще и первая любовь. На заре нашего народного самосознания русское общество в нем впервые познало, говоря его же стихом, тот «первый пламень упоенья», который оставляет неизгладимый след в благодарной памяти сердца. А память сердца в жизни исторического народа не исчерпывается сроком нескольких поколений. Таково свойство высоких созданий вполне искреннего искусства, что они на вечные времена запечатлеваются духом истины, духом жизни, давшим им бытие. Таково свойство и созданий Пушкина. На их художественной вековой прелести лежит еще и неотъемлемая, вечная же историческая печать весны и ее свежести, какой-то новоявленной радости, первого озарения русских сердец светом неложного русского искусства.

Отчего же «неложного»? Отчего, говоря о Пушкине как о поэте, мы все, без различия, сознательно и невольно, прибавляем эпитет: «истинно русский», «истинно народный»? Зачем нужна эта оговорка? В чем именно смысл той исторической минуты, печать которой легла на его творениях?..

Есть такие счастливые на земле страны, где совершенно праздны, да и немыслимы, вопросы: народен или ненароден такой-то поэт или писатель?! где нет погони за «народностью», где народность есть именно та самая стихия, которой образованный, органически правильно сложившийся слой народа (т^есть – общество) естественно живет, движется и творит, – которая, другими словами, проявляет себя свободно и разнообразно в личной сознательной деятельности народных единиц: и в искусстве, и в науке, и в жизни!.. В тех счастливых странах народность в литературе познается не по внешним приметам, не по употреблению только, например, простонародного говора, не по выбору содержания из простонародного быта, не по тому, наконец, доступна ли книга разумению каждого, знающего грамоту, крестьянина. Без сомнения, гётевского Фауста или идеалов Шиллера с Пигмалионом, лобызающим мрамор, не поймет даже и немецкий, не обучавшийся в гимназии пахарь; но кто же когда-либо решался или решится утверждать, что Гёте и Шиллер поэты не национальные? Разве их великие творения не заклеимены насквозь печатью германского народного духа, подобно тому как творения Шекспира – духа британского? Этого мало: разве не германский народный дух сказался в германской философии, в таких силачах абстрактной логической мысли, как Кант или Гегель? И с другой стороны, разве эта печать сколько-нибудь мешает им при этом иметь значение мировое? Напротив: только потому, что на их творениях лежит печать даров их народного духа, могли эти великие поэты и мыслители явить миру новые стороны духа общечеловеческого, обогатить такими многоценными вкладами сокровищницу общечеловеческого сознания. Кажется, это ясно, и было бы даже совестно толковать такую простую до пошлости истину, если б даже и в наши дни не возникали

порою какие-то странные недоразумения по вопросу о народности...

История судила России иной путь развития. Переходу в русском народе от общности непосредственного бытия к высшей жизни и деятельности народного духа в сфере личного сознания рано или поздно надлежало, разумеется, совершиться — и он совершился, но поздно и не мирным органическим процессом, а мучительнейшим из переворотов. Кто бы ни был в том виноват, сам ли народ, Петр ли Великий, могло ли бы или не могло оно совершиться иначе, эти вопросы теперь излишни; важен самый исторический факт. А факт таков (и этого не отринет ни один историк), что русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилению. Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью поливались, спешно, без критики, на веру, выписанные из-за границы семена цивилизации. Все, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, поруганию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык, — все было искажено, изуродовано, изувечено. Народность, как ртуть в градуснике на морозе, сжалась, сбегала сверху вниз, в нижний слой народный; правильность кровообращения в общем организме приостановилась, его духовная цельность нарушена. Простой народ притаился, замкнулся в себя, и над ним, ближе к источнику власти, сложилось общество: вольные и невольные отступники его духа. Русский человек из взрослого, из полноправного, у себя же дома попал в малолетки, в опеку, в школьники и слуги иноземных всяких, даже духовных дел мастеров. Умственное рабство перед европеизмом и собственная народная безличность провозглашены руководящим началом развития.

Только такому могучему народному организму, каков русский, под силу вынести и перебыть подобное испытание, которому, впрочем, конец далеко еще не настал. Тяжко пришлось русским людям; но обращаться вспять было уже нельзя, — да и нежелательно. Оставалось идти вперед, овладеть сокровищами и орудиями европейского просвещения и трудным

подвигом самосознания расторгнуть оковы народного духа, воссоединить разрозненные слои, одним словом, вернуть русской народной жизни свободу, цельность, правильность и плодотворность самобытного органического роста. Вот этой-то, выпавшей в удел русскому обществу исполинской задачей и объясняется то странное явление, которому почти нет подобного в других странах, именно: что сама народность а народе становится объектом сознания, внешней целью, искомым, что возможны у нас вопросы о народности художника, мыслителя и государственного деятеля, что приходится учиться ей в истории и у простого народа, что в русской земле могло возникнуть отдельное русское же направление — в литературе, в политике, в жизни, и стоять особняком, как нечто оригинальное и даже исключительное!..

Перенесемся, однако, мыслию к началу этого тяжелого и тернистого поприща. Устремившись из своей тесной национальной ограды в пролом, сделанный мощною рукою Петра, русское общество, сбитое с толку, с отшибленной исторической памятью, избывшее и русского ума и живого смысла действительности, заторопилось жить чужим умом, даже не будучи в состоянии его себе усвоить. Нескладно и безобразно залепетало оно дикою смесью простонародного говора, церковнославянского языка и изуродованной иностранной речи. Чужой критериум, чужое мерило, чужие формы, чужое мирозерцание. Жизнь наводнилась ложью, призраками, абстрактами, подобиями, фасадами — и колоссальным недоразумением между народом и его так называемой «интеллигенцией» официальной и неофициальной, консервативной и либеральной, аристократической и демократической.

Но деятельность духа все же началась! Русская земля не оскудела в нужный час талантами. Мысль была еще слишком слаба; наука на степени школьного знания, — но поэзия обогнала тугой рост русского просвещения, и в этом ее особенное историческое у нас значение. Первый русский ученый, явивший образцы самостоятельного русского помышления, Ломоносов, был и первый по времени русский поэт, ускорявший работу

научного анализа поэтическим вдохновением. Затем, от Ломоносова до Карамзина (впрочем, также полухудожника), не приходится назвать почти ни одного видного деятеля науки, тогда как за то же время целый преемственный ряд более или менее замечательных поэтических дарований не перестает возделывать умственную и нравственную почву русского общества. Таким образом, русской литературной поэзии выпал жребий, в течение довольно долгой поры, за недостатком у нас воспитания научного, служить почти единственным орудием, по крайней мере, эстетического воспитания и образования в русском обществе. Конечно, форма, содержание, вся окраска в этой поэзии была еще не русская, и только мощный талант Державина метал иногда, из-под глыб всяческой лжи, молнии истинно русского Духа. Но при суждении о литературных талантах той эпохи не следует упускать из виду те нравственные пути, которыми они были обмотаны, ту трату сил, которая требовалась им для борьбы с подавлявшей их самих ложью. Все же, несмотря на фальшь, звучавшую в тогдашней поэзии, покорялся искусству самый материал его — слово, и русскому слуху стала опознаваться в стихотворной форме сила и гармония русского языка в такое еще время, когда в прозе царила самая неуклюжая, варварская речь. Только в поэзии находило себе некоторое удовлетворение угнетенное русское чувство и отдыхало от отрицания, господствовавшего в мышлении и в жизни, — хотя, по истине, отдыхало лишь в новом самообольщении. На крыльях лирического восторга уносилось оно в какую-то чужую псевдоклассическую, населенную призраками высь, далеко над настоящей русской землей, дичась всякой жизненной правды. Так было особенно в XVIII веке, в эпоху «наших Пиндаров», «наших Горациев», «наших Северных Бардов» и т. д.

Из псевдоклассических высот поэты стали, наконец, при помощи романтических ходуль касаться дола. И хотя Жуковский, благородный Жуковский, с «его стихов пленительною сладостью» (по выражению Пушкина), равно и Батюшков, «наш Парни российский» (как величал его Пушкин же, впрочем, еще в 1814 году, еще мальчиком), хотя оба они резко отделяются от всех

своих предшественников, однако же и они, когда спускались на землю, то на какую-то чужую, не русскую. Их местами прелестная, хотя вообще однозвучная поэзия лишена внутренней силы и совершенно безлична в смысле народности... Вообще надобно заметить, что время Александра I было в некоторых отношениях едва ли не хуже времени Екатерины. В XVIII веке русские люди еще только перерядились, и в ином вельможе из-под пудренного парика и французского кафтана торчал порою чуть не прямой русский мужик, а щеголеватый французский жаргон сменялся подчас истою простонародною речью. К началу XIX века русские люди успели уже переродиться и так вошли в иноземные обычаи, нравы, понятия, что приобрели даже развязность и ловкость «почти» европейского человека. Простонародная или коренная народная речь не только ими забывается, но даже поражает их как бы новизной. Они и патриоты, и, пожалуй, ревнители «всего отечественного», но даже и не подозревают, в простодушной надменности своего европейского просвещения, всей глубины своей духовной розни с народом. Прежняя грубая, внешняя ложь сменилась ложью сугубою, внутреннею, благообразною. Язык, литература, поэзия — все получает вид гладкой, порой даже изящной нерусскости или безличности. Вспомните, например, даже официальные, печатные, всенародные от лица власти объявления, где благодаря, конечно, стилистам того времени, русский царь именует себя «начальником столь достойной и благородной нации»; вспомните письма и повести Карамзина, повесть об Усладе самого Жуковского и пр<очее> и пр<очее>. Даже гроза 1812 года не прибавила костей и мускулов, не придавала правды слогу тогдашних писателей, не только в прозе, но и в поэзии.

В 1819 году в торжественном заседании нашего же Общества любителей российской словесности и в этом же самом зале рассуждалось «о господине Буало и гении Корнеля, сих вечных образцах искусства». Расширяя, однако, число образцов и поприще для русской литературы, ученый, достойный всякого уважения, председатель общества Мерзляков вещал, между прочим, в своей речи таким образом: «Почтенные

мужи!.. Птичка научила человека радоваться и воспевать свою радость... Пусть на цветущем поле нашей словесности резвятся в разнообразных группах Амуры, Зефиры и Фавны». Вы улыбаетесь и снисходительно припоминаете, что все это ведь говорилось 61 год тому назад...

И в том же самом 1819 году раздаются в слух русского общества такие, например, стихи 20-летнего Пушкина:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
На нем бессмысленно чертит;
Но краски новые, с годами,
Спадают ветхой чешуей,
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой и пр.

Стихи также написаны 61 год тому назад, но здесь искусство достигло того зенита зрелости и совершенства, с которого никакое уже время не сводит.

Точно день, белый день, настал для русского общества с появлением Пушкина. Призраки, обманные очертания ночи отшатнулись, уступив место правде дня с ее простотою и красотою. Творчеству русского духа, по крайней мере в сфере поэзии, возвращена свобода и полноправность. Поэтическое откровение опередило работу нашего народного самосознания и разрешило задачу, — до теоретического разрешения которой мысль и наука только теперь дорастают. Какая богатырская сила таланта нужна была для того, чтобы, подобно подземному ключу, поднять, своротить все эти плотные наслоения лжи и пробиться наружу таким величавым потоком русской поэзии? Но одного свойства силы было здесь недостаточно. Только великий, совершенно искренний и цельный мастер-художник, только (говоря поэтической метафорой) жрец чистого искусства, никаких задач вне искусства не знающий, но притом с живой русской душой, мог совершить такой великий исторический общественный подвиг. Пушкин как художник стоит уже не на относительной, а на абсолютной высоте,

не подлежа сравнению ни с каким иностранным поэтом, не как «наш Гораций», «наш Парни» или «наш Байрон», а сам по себе, как Пушкин. Правда русской народности могла завоевать себе всемирное гражданство в искусстве только через безусловную в самой себе правду искусства. И именно потому, что Пушкин был служителем чистого, т<о>е<сть> искреннего в себе самом искусства, не обращал поэзию умышленно в орудие разных предвзятых идей и теорий, ни политических, ни социальных, не сузился в доктринера, не ставил себе внешнею целью «пользу», не послушался толпы сторонников грубого утилитаризма, а неуклонно слышал в душе своей иной божественный голос: «не о хлебе едином жив будет человек», — только потому и явился он таким беспредельно полезным общественным деятелем. Да, потому именно и стало велико и бессмертно историческое дело Пушкина, что он мог с полной искренностью и полным правом сказать о себе:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв... —

Какой еще «пользы» нужно? Да ведь такие стихи, такие звуки — благодеяние!

Не совершил бы Пушкин своего подвига, сказал я, если б он не был цельный художник с живою русскою душою. Эта русская стихия видится мне не в одном только русском языке, доведенном Пушкиным до изумительного совершенства, силы, образности и мужественной красоты, и не во внешнем только содержании его некоторых творений, но еще более во внутренних сторонах его творчества. Вообще можно лишь удивляться, каким образом, при его французском воспитании дома и в лицее, при раннем, к несчастью, растлении нравов, обычном в то время вследствие безграничного господства в русском обществе французской литературы XVIII века; при соблазнах и увлечениях света, — мог не только сохраниться в Пушкине русский человек, но и образоваться художник с таким русским складом ума и души, с таким притом глубоким сочувствием к

народной поэзии – в песне, в сказке и в жизни?.. Внешнюю разгадку этого явления следует искать, прежде всего, в деревенских впечатлениях детства и в его отношениях к няне. Но и няня и детские впечатления деревни таились тогда в воспоминаниях почти каждого отъявленного отрицателя русской народности, так что такая русская бытовая черта в поэзии Пушкина является уже сама по себе нравственной его заслугой и оригинальной особенностью. В самом деле, от отрочества до самой могилы этот блистательный прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных, «наш Байрон» притом, как любили его называть многие, не стыдился всенародно, в чудных стихах, исповедывать свою нежную привязанность – не к матери (это было бы еще не странно, так и многие поэты делали), а к «мамушке», к «няне», и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу... Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта, это – няня, это простая русская деревенская баба!.. Точно припав к груди матери-земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа! Да будет же ей, этой няне, и от лица русского общества вечная благодарная память! Невозможно не помянуть здесь этой няни собственными стихами Пушкина, в которых к тому же так звенит русскими струнами его душа... Вот что еще в лицее, воспевая одновременно с товарищами разных Эльвин и Дорид, еще в 1816 г., писал он:

Ах, умолчу ль, о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнись бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы...
Пред образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины.

Заметьте, что в это время в нашей литературе если и встречалось благосклонное упоминание о русской женщине из простонародья, то не иначе как о «простодушной поселянке»... Но каким зрелым художественным совершенством звучат стихи 1821 года:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя. В вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила,
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила...

А эти стихи:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя,
Одна, в глуши лесов сосновых,
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, словно на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках...

За полтора года до смерти, посетив свое родное Михайловское, так вспоминает он об ней:

Вот смиренный домик, —
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет; уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,

Ни утренних ее дозоров. И тут же три зачеркнутые стиха:

А вечером, при завываньи бури,
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет и никогда не скучных.

Не к ней ли относятся и эти два стиха, вложенные Пушкиным в уста Татьяне:

Где ныне крест и сень ветвей
Над бедной нянею моей...

Многие «народность» поэзии Пушкина усматривают именно в русских сказках и других его произведениях в так называемом «простонародном» роде. Но русская, стало быть, и вполне народная стихия слышится у Пушкина едва ли не наиболее там, где он не ставит себе «народность» внешнюю целью, где он вполне свободен и искренен в своем творчестве и отдается без стеснений движениям своей русской души. Оставляя в стороне вопрос, в какой степени верна самая задача: воспроизвести в формах современной литературной поэзии русский народный эпос, — скажу только, что не все создания Пушкина в этом направлении представляются одинаково удачными, но все обличают великого мастера и свидетельствуют, как все глубже и глубже проникал его художественный взор в красоты русского народного эпоса, в золотую руду народного слова. Он даже пришел вообще к убеждению, что рифмованный, точно размеренный стих слишком тесен для русской поэтической речи и будет когда-нибудь заменен иною, более широкою и свободною формой стиха. Некоторые же простонародные его сказки действительно образцовы, как, например, сказка о Кузьме Остолопе, о Золотой Рыбке. Припомним, кстати, что, кроме записных ученых, едва ли кто из русского общества был в то время так коротко знаком с народными старинными сказаниями и былинами; едва ли не Пушкин первый заставил признать их художественное достоинство и значение для русского языка. Когда однажды критики напали на Пушкина за его стих:

Людская молвь и конский топ,

утверждая, что это «не по-русски», Пушкину пришлось уличать критиков в безграмотности и невежестве цитатами из «Сборника» Кирши Данилова. Замечательно при этом и увещание Пушкина к критикам: «Не должно стеснять свободу нашего богатого и прекрасного языка!»

Никто до Пушкина не воспроизводил ни в стихах, ни в прозе нашей простой сельской природы с такою простотою истины и с такою теплотою сочувствия. Если встречались, бывало, в нашей литературе описания, то или отрицательной окраски, или природы вообще, а не именно русской, или же она одевалась каким-то буколическим покровом, а русские мужики являлись в виде Менандров и Дафнисов. И среди всей этой поэтической неправды вдруг такие стихи:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы,
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбакий...

Или... Но не достало бы и времени приводить примеры. Ваша память сама вам их подскажет. В стихах Пушкина, и теперь захватывающих сердце, не только видится, но и ощущается во всем веянии своей жизни сама родная наша природа. Что же должны были испытывать русские люди, впервые в русской печати прочитавшие такие воспроизведения русской природы? Не своего ли рода эмансипацию русского угнетенного чувства? Не казалось ли им, что они точно возвращаются, после долгой где-то отлучки, на родину, домой, домой!..

Но еще более важны внутренние, нравственные черты его поэзии, чисто русского народного свойства. Я вижу их прежде всего в этом известном русском народном отвращении от всякого фразерства, от всего напыщенного, ходульного, — отвращении, так положительно выразившемся у Пушкина дивной простотой и трезвостью творчества. Пушкин как художник тем именно дорог и замечателен и отличается от большинства многих европейских поэтов, что он всегда искренен, всегда прост, всегда свободен, никогда не позирует, не рисуется, не нянчится, не носит с своим «я». Он если и выставляет себя, то непременно хуже, легкомысленнее, чем он есть, но не так, как другие, которые не прочь наделить себя даже порочными качествами, но непременно красивыми: гордостью, презрением,

ненавистью к людям и т.п. Эта черта в Пушкине в высшей степени симпатична и в высшей степени наша, народная, русская.

Не глубокая ли также русская психическая черта в Пушкине – это чувство реальной, жизненной правды, чуждающееся фальшивых идеалистических прикрас, но в то же время, сквозь отрицательные стороны предмета, умеющее распознать положительные его стороны, с присущей им красотой? Пушкин первый в нашей литературе отнесся не только к русской природе, но и к воспроизведенным им явлениям русской бытовой жизни с их положительной стороны, и притом с такою верностью, которой мог бы позавидовать любой реалист нашего времени. Вспомните его изображения русской уездной сельской жизни в «Онегине», его «Капитанскую дочку» и множество других: сколько в них правды, и как эта правда согрета и освещена теплым светом сочувствия, но в то же время ограждена в читателе от ложной окраски тонкою, незлобивою иронией! Вот эта способность шутки, это присутствие иронии в уме – тоже коренная, народная черта истинно русского человека: это постоянно присущий русскому человеку антидот против всякой излишней, а потому и фальшивой идеализации и против собственного самообольщения. Такая ирония – свойство широкого ума – не есть «отрицание» и не противоречит любви. Она дает лишь усматривать человеку, в свете любви, обратную, юмористическую сторону иной истины, отразившуюся вместе с положительной ее стороной в явлениях ли жизни, в собственной ли душе. Такой грациозной шуткой и доброй умной иронией, прикрывающей иногда легкой формой, глубокую серьезную мысль и целую перспективу мыслей, обилует поэзия Пушкина, особенно же «Евгений Онегин» и именно в изображении «героев». Татьяна, например, о которой он сам сказал:

...Я так люблю

Татьяну милую мою,

является в самом реальном освещении «барышней уездной»

С печальной думою в очах,

С французской книжкою в руках,

и в то же время с книжкой гаданий и снов Мартына Задеки, с простонародными страхами и суевериями. Начертанное с искренним сочувствием изображение Ленского, этого возвышенного душою поэта, предназначенного такой трагической участи, вводится самим автором в должные размеры двумя стихами:

Он пел поблеклый жизни цвет —
Без малого в осьмнадцать лет...

Пушкин не был поэтом «отрицания», — но не потому, что был не способен видеть, постигать отрицательные стороны жизни и оскорбляться ими, но потому, прежде всего, что не таково было его призвание, как художника; что ему дан был от природы иной талант: усматривать в явлении предпочтительно его положительные, человеческие черты и на них предпочтительно отзывать, минуя те стороны, где даже ирония не у места, где уже нужен бич сатиры (требующий специального дара) или вмешательство власти. Так, из истории Петра Великого он останавливается на пире, заданном Петром в честь примирения его с подданными, из деяний Наполеона — на его посещении чумных в Яффе. Еще потому, может быть, что Пушкин своим русским умом и сердцем шире понимал живнь, чем многие писатели, окрашивающие ее явления сплошною черною краскою. Здесь же, кстати, можно привести и собственные слова Пушкина в одной из его журнальных статей: «Нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви»*.

Да кстати припомним, что он первый понял, первый оценил и взлелеял Гоголя.

Что особенно поражает в Пушкине и является также русскою психическою чертою, тесно, впрочем, связанной с чувством реальной правды, это отсутствие мечтательности, в смысле немецкого *Schwärmerei***, и скажу более, даже отсутствие страстности. Я, конечно, разумею здесь исключительно сферу искусства. Пушкин представляет в себе удивительное, феноменальное и глубоко трагическое сочетание двух самых

* Сочин. Пушкина, изд. 1870 г., т. V, стр. 421²¹.

** Грезы (нем.).

противоположных типов как человека и как художника: знойный африканский темперамент и чисто русское здравомыслие, поражающее в самых молодых его произведениях и потом все более и более развивавшееся; страстность природы и воздержность колорита в поэзии, самообладание мастера, неизменно строгое соблюдение художественной меры; легкомыслие, внутренность, кипение крови, необузданная чувственность в жизни и в то же время серьезность и важность священнодействующего жреца, способность возноситься духом до высот целомудренного искусства и писать такие стихи, как «Пророк», «Отцы пустынники», «Ответ митрополиту Филарету» и проч.

Он сам сильнее всех сознавал в себе эту двойственность:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В забавах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира.
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира.
Быть может, всех ничтожней оня..

Что должен был испытывать в глубине своего духа носитель таких великих божественных даров в те минуты, когда сознавал свое «ничтожество»?..

Некоторым покажется, пожалуй, странным эпитет «важный», и они укажут на множество стихов эротического и вообще легкомысленного содержания. Правда, их немало; но все эти стихотворения запечатлены характером шалости, забавы молодого таланта, хотя бы иногда и непозволительной, в которой и сам Пушкин потом горько раскаивался. Все же это только избыток жизни, плеск играющих волн на поверхности глубоких вод. Но поэт весь преобразался, лишь

...божественный глагол
До слуха чуткого коснется, —

и становился «взыскательным художником», для которого
Прекрасное должно быть величаво.

И никогда в своем храме, пред алтарем, не священнодействовал он пороку как принципу, не служил умышленному холодному разврату и божественным глаголом не сеял коварно безнравственности. Напротив, все его сколько-нибудь серьезные произведения оставляют здоровый след в душе читателя. Он как художник сам творит, в той или другой форме, суд над своими героями, и даже Онегин, многими своими сторонами вполне сочувственный Пушкину, обличен и пристыжен Татьяной, — простой, в русской деревне возросшей, умной Татьяной. Эта, бесспорно, из всех героинь Пушкина им наиболее любимая и чтимая, остается, как известно, верна своему долгу. Такая простая по-видимому, но в сущности трагическая нравственная развязка романа навлекла и на Пушкина, и даже на бедную Татьяну упреки некоторых русских критиков, так что со стороны Пушкина это был своего рода смелый поступок художественной правды!

При всех таких русских свойствах поэзии Пушкина можно ли толковать серьезно о каком бы то ни было влиянии на него Байрона? Не было гениев более друг другу, по природе своего творчества, противоположных. Впечатлительный Пушкин, разумеется, восхищался Байроном, мог даже увлекаться им временно и называть его властителем дум (впрочем, не лично своих, а «наших», т<о> е<сть> века), мог иногда заимствовать у него какую-либо внешнюю черту или форму, именно в «Бахчисарайском фонтане» (на что и сам указывает), но Пушкин же и судил его строго. Он называет Байрона «поэтом гордости», «мрачным как море». Пушкин же был поэтом дневного белого света, а личной гордости в нем нет и тени. Но уж чему он вовсе не был причастен, так это байронизму, т<о> е<сть> тому направлению в умах и жизни, которое было навеяно мощной, субъективной поэзией Байрона. Он обличил и осудил это направление и в лице Алеко в «Цыганах» («гордого человека», который «лишь для себя хочет воли»), и в лице самого Онегина (как я уже говорил), этого «москвича в гарольдовом плаще», вечно, по словам Пушкина же, «преданного безделью» и «томящегося душевной пустотой». Но нигде так гениально, умно,

метко и притом сжато не заклеямен этот тип со всеми своими разветвлениями (долго и потом лелеянный в нашем обществе и литературе), как в следующих стихах. Онегин оставил у себя в библиотеке только

Певца Гяура и Жуана,
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно:
С его безнравственной душой.
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом!

Много и прекрасно было говорено об объективности Пушкина, т<о> е<сть> об этой способности постигать предмет в нем самом, как он действительно есть, и воспроизводить его в его собственной правде. Я позволю себе только высказать мнение, что эта способность опять-таки гнездится в глубинах русского духа. Едва ли не воспитывается она в русском народе самым общинным и хоровым строем его жизни, мало благоприятствующим развитию субъективности и индивидуализма. Думаю также, что и самый наш внешний простор, ширь этого народного союза и братского чувства в объеме свыше полусотни миллионов сердец, все это не может из способствовать некоторой широте духа и многосторонности понимания. Нам легче быть объективнее, чем кому другому. Кроме того, русский человек, непричастный истории европейского Запада, поставлен в выгодное относительно его положение уже потому, что может обозревать его извне, судить о нем с той свободой и всесторонностью, которой мешают национальные междоусобные пристрастия местных западных писателей. Русское искусство и в этом отношении предварило нашу русскую науку, еще далеко не освободившуюся из своего духовного плена... Образцом такого объективного постижения являются у Пушкина все его воспроизведения европейской жизни. Возьмите,

например, его «Сцены из рыцарских времен» – это мастерское творение, еще недостаточно оцененное критикой, «Скупой рыцарь», «Каменный гость», самое послание к Юсупову с блестящим очерком Европы конца прошлого века, и пр<очее> и пр<очее>. Самые заимствования у иностранных писателей (и не у одних только европейских) и так называемые «подражания» становятся у Пушкина, опять-таки вследствие его объективной способности, вполне самостоятельными созданиями и даже выше, большей частью, подлинников или образцов. Таковы: «Пир во время чумы», стихотворение из Вуньяна, подражания Алкорану, «Песни западных славян», заимствованные у Мериме, и множество других.

Не могу пройти молчанием упрек, делаемый Пушкину в аристократизме или чванстве своим старинным родом, выразившемся будто бы, между прочим, в его «родословной Езерского». Упрек истинно забавный и относительно аристократизма несправедливый уже потому, что наши аристократы, к сожалению, весьма мало интересуются своими историческими предками. Пушкин действительно знал и любил своих предков. Что ж из этого? Было бы желательно, чтоб связь преданий и чувство исторической преемственности было доступно не одному дворянству (где оно почти и не живет), но и всем сословиям; чтобы память о предках жила и в купечестве, и в духовенстве, и у крестьян. Да и теперь между ними уважаются старинные честные роды. Но что в сущности давала душе Пушкина эта любовь к предкам? Давала и питала лишь живое, здоровое историческое чувство. Ему было приятно иметь через них, так сказать, реальную связь с родной историей, состоять как бы в историческом свойстве и с Александром Невским, и с Иоаннами, и с Годуновым. Русская летопись уже не представлялась ему чем-то отрешенным, мертвою хартиею, но как бы и семейною хроникой. Зато уж как и умел он воспроизвести в своей поэзии простую прелесть летописного языка и самый образ русского летописца (в «Борисе Годунове»)! Он и в современности чувствовал себя всегда как в исторической рамке, в пределах живой, продолжающейся истории. Посмотрите, как

чутко отзывается он на все истинно великие русские события своей эпохи, как горячо принимает к сердцу и честь, и славу, и самое внешнее достоинство России; какой негодующий стих бросает он в ответ «Клеветникам России», скликавшим всю Европу в новый против нас крестовый поход! Пушкин был живой русский, исторически чувствовавший человек и не принадлежал к числу доктринеров, которые не смеют отдаться самым простым, естественным движениям русского чувства без справок с своей доктриной. Пушкин любил русский народ не отвлеченно, а вместе с той реальной исторической формой, в которую он сложился и в которой живет и действует в мире, — любил и русскую Землю и русское государство, содержа их в своей душе в том тесном любовном союзе, в каком содержит их и душа народа, вопреки всех временных ошибок и уклонений государственной власти. Но никогда не слагал он хвалебных од живым носителям этой власти, а если и «пел» их, то повинуюсь лишь искреннему, прекрасному движению сердечного сочувствия и тайно, между ближайшими друзьями, не предназначая стихов для печати.

На лире скромной, благородной,
Земных богов я не хвалил
И силе, в гордости свободной,
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь умея славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей.

Но в то же время он «Елисавету тайно пел». В день лицейской годовщины 19 октября 1825 г., в послании к друзьям, за кого предлагает и пьет первый кубок сосланный, у себя в деревне, поэт?

Друзья мои, простим ему гоненье:
Он взял Париж и основал Лицей!

Его стихи «Друг и Поэт», где воспевается посещение Наполеоном чумных, были вызваны великодушным поступком госу-

даря Николая Павловича, который, узнав о появлении холеры в Москве, помчался в Москву (а холера считалась тогда наравне с чумой), куда и приехал вечером, в оцепленный город, — на что и намекается стихами:

Или Москва пустынно блещет,
Его приемля, и молчит...

Но никто не разумел этого намека, даже стихи были напечатаны без подписи Пушкина в «Телескопе». Один Погодин был посвящен Пушкиным в тайну и открыл ее печатно лишь после смерти нашего благороднейшего из поэтов. Сохраняя всегда во всем полную нравственную свободу и независимость художника, Пушкин не был певцом ни официальных торжеств, ни официального величия; был чужд и слепого, узкого национального эгоизма, Россия для него имела широкое историческое «предназначение» не только славянское, но и мировое. Он возглашает не проклятие Наполеону, виновнику памятного ему нашествия на Москву 1812 года, а хвалу:

Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал, —

а когда в 1829 году русские войска двинулись к Константинополю, он напоминал им, что они только «снова обрели старый, олеговский еще путь»... Да, Пушкин был живой русский, исторически чувствовавший человек. Историческое чувство, историческое сознание!.. Да ведь это значит — уважение к своей земле, признание прав своего народа на самобытную историческую жизнь и органическое развитие; постоянная память о том, что пред нами не мертвый материал, из которого можно лепить какие угодно фигуры, а живой организм, великий, своеобразный, могучий народ русский, с его тысячелетнею историей! Да не в том ли вся сумма наших бед и зол, что так слабо в нас во всех, и в аристократах, и в демократах, русское историческое сознание, так мертвенно историческое чувство!

Я, конечно, не исчерпал своей задачи, но, кажется, все же несколько уяснил, в чем я вижу русскую стихию поэзии Пушкина. Это был первый истинный, великий поэт на Руси я первый истинно-русский поэт, а по тому самому и народный, в высшем значении этого слова. Он и до сих пор самый русский из всех наших поэтов. Он первый внес правду в мир русской поэзии и разрешил плен русского народного духа в доступной ему сфере искусства. Как орел парит над нами и до сих пор его поэтический гений, широко простирая крылья, никем доселе не опереженный, – вовеки гордость, слава и любовь русской земли!

Не все, конечно, стороны народной жизни и духа нашли себе выражение в созданиях Пушкина; тем не менее мы еще только теперь начинаем дорастать нашим сознанием до смысла всех тех откровений, которые таятся в глубинах его поэзии. И не одному только искусству указал он путь, но всей вообще русской мысли, во всех ее разнообразных проявлениях, в слове и в жизни.

Пусть же воздвижение ему памятника станет в самом деле событием и новой эрой в нашей общественной жизни. Пусть изваянный в меди образ этого всемирного художника и русского народного поэта неумолчно зовет чреды сменяющихся поколений к труду народного самосознания, к плодотворному служению истине на поприще правды народной, – чтобы сподобиться наконец русской «интеллигенции» стать действительным высшим выражением русского народного духа и его всемирно-исторического призвания в человечестве!

Примечания

Произнесена 7 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности при имп. Московском университете, посвященном открытию памятника поэту в Москве.

Печатается по: Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика / Сост., вступит, статья и коммент. А. С. Курилова. М.: Современник, 1981.